



ВЫНОСЧИК

ТРИ ВОЙНЫ ВАДИМА ГОРСКИХ

ВОЙНА

ТОМ ПЕРВЫЙ

«Горских не носят. Горских — держат»

Андраник Алавердян

Алавердян Андраник

Выносчик — Том 1. Война

<https://litres.ru/74575242>

SelfPub; 2026

Аннотация

ТОМ ПЕРВЫЙ. «ВОЙНА»

Серия: «Выносчик. Три войны Вадима Горских» — книга 1

Автор идеи: Алавердян Андраник Аршикович

Жанр: военная проза, роман воспитания. 16+

Июнь 1994-го. Кузьминки. Вадиму Горских восемнадцать: аттестат, девушка Ирина, берёза под окном и мать, которая смотрит на него через кухонный стол — и молчит.

А потом приходит повестка. Морская пехота. Кавказ.

Из этого «домой к новому году» не выйдет: зима кончится, а война — нет. Будет учебка, где сержанты-«афганцы» учат не по науке, а по памяти. Будет Бамут, окопы по пояс в воде и друг Санёк — сосед по теплушке.

Пятого мая 1995 года Саньки не станет. И Вадим напишет его матери письмо-правду — всю, до конца.

А дома ждут мать, недописанное письмо Ирины и берёза, потому что «Горских не носят. Горских — держат».

Между войнами поместится целая жизнь: госпиталь, техникум, дефолт. И вторая кампания, на которую он уйдёт добровольно.

Это первый том эпопеи о человеке, которого война научила умирать, а жизнь — выносить.

Содержание

Глава Первая. Кузьминки	5
Глава Вторая. Две Неудачи	11
Глава Третья. Казанский Вокзал	17
Глава Четвёртая. Повестка	22
Глава Пятая. Эшелон	27
Глава Шестая. На Перевес	36
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Алавердян Андраник

Выносчик — Том 1. Война

*«Горских не носят. Горских — держат» —
слово, сказанное матерью в июне 1994-го.
Автор: Алавердян Андраник Аришикович*

Глава Первая. Кузьминки

В ту ночь с последнего звонка не спалось никому в Кузьминках.

Это был июнь тысяча девятьсот девяносто четвёртого года, и ночь стояла та самая, московская, белая, короткая, какая бывает только в этом месяце: небо не темнело, а только густело, как чай, — и весь район, все его девятиэтажки, гаражи, тополя и антенные решётки на крышах стояли в этом густом свете, как декорации спектакля, которому играют уже третий десяток лет.

Вадим Горских вернулся с выпускного утра, когда над Москвой-рекой, над лесопарком, над всеми крышами вставало солнце. Он шёл от школы пешком, через парк, — рубашина навывпуск, в кармане стучали ключи от квартиры, и в голове, освобождённой от десяти лет уроков, было звеняще и пусто, — и на первом же мостике через пруд остановился. Берёзы стояли в первом полном листе.

Они выстроились по берегу, белые, в тёмных прожилках, и длинные плакучие ветви их склонялись к самой воде, и вода под ними была тёмная, утренняя, с листками упавших листьев. Одна берёза, крайняя, у самого мостика, была старше других — Вадим знал её с детства, лазил, качался, видел её в любой сезон, — и теперь, в восемнадцать лет, стоя с аттестатом зрелости в руке, он вдруг посмотрел на неё глазами взрослого: она была огромная. Ветви её, отросшие за десятилетия, свисали до воды, как распущенные волосы, и вода под ними не двигалась, и всё дерево стояло так — склонённое, терпеливое, полное какой-то своей, древесной печали, — и Вадиму пришло в голову, странное для выпускной ночи: она похожа на маму. На маму, которая плачет, наклонившись над ним, маленьким, и слёзы её падают ему на лоб, и она не вытирает их, потому что руки её заняты — им самим.

Он тряхнул головой, отогнал, пошёл дальше. Утро брало своё: пахло речкой, огурцами с первого слоя теплиц, где-то гудел первый трамвай. Дома его ждал стол, накрытый с вечера, и мать, не спавшая всю ночь, — она сидела на кухне в своём лучшем платье, выцветшем до состояния домашнего, и лицо у неё было счастливое и растерянное сразу: единственный сын заканчивал школу.

— Ну, — сказала она, — здравствуй, выпускник.

И, оглядев его, — вспотевшего, с чёлкой, приклеившейся ко лбу, — добавила то, что говорила всю жизнь, чем встречала и провожала, чем хвалила и ругала:

— Форма формы разнь. Садись есть.

За столом, между салатом оливье и пирогом, она говорила про отца. Это было в их доме главное место, и разговор туда возвращался всегда: отец, Сергей Николаевич, умер десять лет назад, осенью восемьдесят четвёртого, — сердце, сорок шесть лет, — и с тех пор все большие разговоры в доме велись через него, как через икону: «отец бы сказал», «отец бы посмотрел». Мать рассказывала, как отец, механик авторемонтного завода, в свой единственный выпускной — свой, деревенский, довоенный — танцевал до утра и потом неделю хромал, и Вадим, зная это наизусть, слушал, как в первый раз, потому что в такие утра всё старое звучит ново.

На комод в большой комнате стояла фотография: отец молодой, в костюме с плеча кума, с той самой улыбкой, которая Вадиму не досталась, — широкой, передней, смелой. Вадим, проходя мимо, всегда взглядывал на неё исподволь, как глянут на старшего: не оценивая, — проверяя себя. Утро выпускного не было исключением. «Вот, — говорил взгляд, — я закончил школу. Дальше — сам».

Вечером, отоспавшись, он пошёл к пруду — там ждала Ирина.

Ирина Мельникова жила в соседнем подъезде, они учились в одном классе с пятого, сидели через ряд, и три года — с девятого класса — было у них то, что в их возрасте называют «встречаемся»: кинотеатр «Высота» по субботам, каток в Кузьминках зимой, мороженое «лакомка» и её рука

— маленькая, всегда почему-то холодная, — в его кармане. Ирина была аккуратная, насмешливая, первая по русскому и литературе, и весь класс знал, что она поступает в Ленинград, на филфак, — туда, где «настоящая жизнь, настоящая литература и настоящий воздух».

Они сидели на мостках, свесив ноги к воде. Белая ночь стояла над парком, и пруд был как зеркало, в котором лежали второй парк, второе небо и вторые, перевёрнутые берёзы.

— Ну что, — сказала Ирина, — кончилась школа. Кончилась, и не скажешь ничего. Как будто вагон прошёл, а ты на перроне остался.

— Это ты останешься на перроне, — сказал Вадим. — А я поеду в свой институт. На мехмат. Буду к сентябрю готовиться.

— Скучно на твоём мехмате, — сказала она без злости, глядя на воду. — Формулы. А я хочу — слова. Слова живее.

Он не стал спорить. С Ириной он никогда не спорил после того, как в десятом классе заспорил о «Войне и мире» — она разложила его по шпациям, весело и жестоко, — и он запомнил на всю жизнь, что она умнее его, и это было в его любви к ней — третьей, может быть, частью: как восхищение перед чужой силой.

— Пойдёшь со мной на выпускной вечер? — спросил он вместо спора. — Ну, на наш, школьный.

— Пойду, — сказала она. И, помолчав, положила голову ему на плечо — редкая для неё нежность, — и ветви ста-

рой берёзы над мостками качнулись, и в белом небе пошёл, заструился первый мелкий дождь, и они сидели так, под её плакучей кроной, укрывшись ею, как плащом, и Вадим был счастлив той полнотой, какая бывает только в восемнадцать лет, когда ещё ничего не потеряно и всё — впереди.

Дождь прошёл. Они пошли домой — мимо гаражей, мимо отца-берёзы, мимо всего, что было его жизнью, — и на углу, у её подъезда, Ирина вдруг остановилась, посмотрела на него своим быстрым, оценивающим взглядом, — так она смотрела на фразу, которую собиралась разбирать, — и поцеловала. Не в щёку, как всегда, — в губы, крепко, по-взрослому, отчаянно, как целуют перед чем-то, о чём сами ещё не знают.

— До осени, — сказала она и убежала в подъезд.

«До осени», — повторил он про себя, идя к себе, и слово это было тёплое, верное, и ничего — ничего! — не предвещало.

Дома, лёжа в темноте, он слушал, как мать ходит по кухне, убирая после праздника, и думал о том, что жизнь — большая. Что впереди — институт, армия (куда без неё), работа, может быть, семья, и что хорошо быть восемнадцатилетним в стране, которая — он это смутно, по телевизору, знал — стоит на пороге чего-то огромного и непонятного, но ему-то, в его Кузьминках, под его берёзами, — это огромное казалось погодой: пройдёт и сменится.

Он засыпал счастливым. И берёзы стояли над спящим районом, белые в белой ночи, и над ними стояло небо, и над

небом — ничего: только то, что было всегда и что не спрашивает никого, что ему делать с людьми, деревьями и странами.

Глава Вторая. Две Неудачи

Июль кончился экзаменами — не школьными, своими, личными, перед которыми не вызубришь билет.

Московское энергетическое. Первый тур — математика письменно. Вадим решил четыре задачи из пяти, и четвёртую — с опiskой, на ровном месте, перенося формулу: минус уехал в минус, и весь ответ поехал за ним. Второй тур — устно, — он стоял перед кафедрой, потный, в чужом пиджаке, и профессор с усталым добрым лицом смотрел на его решение и говорил: «Молодой человек, а вот здесь вы умножили на минус один и потеряли знак...» — и Вадим видел эту потерю, физически, как видят занозу, и ничего уже нельзя было сделать. Проходной балл он недобрал — три балла. Три балла, три задачи, три дня — числа врезались в память на всю жизнь.

Московский авиационный. Он подал туда документы уже после, в последней надежде: авиационный брали больше, конкурс был меньше. Но и тут — математика: на этот раз сошлось всё, кроме последней задачи, которую он решал, как учили репетиторы по весне, — и недорешал, времени не хватило, — и снова недобор, снова на волосок.

Он ехал домой после оглашения, в троллейбусе, обмытом и тряском, и смотрел в окно на свою Москву — на счастливых, чужих людей с сумками, на мальчишек с мороженым,

на всё, что было жизнью, — и думал с той взрослой, первой настоящей горечью, какая бывает только в восемнадцать: «не взяли». Не потому, что глуп. А потому, что описка, потому что минус, потому что кто-то решил все пять. Мир впервые показал ему, что он — не центр его.

Дома мать встретила его вопросом, которого он боялся весь путь:

— Ну?

— Не прошёл, ма. Оба. Не добрал.

Она кивнула медленно, не сразу. Потом сняла с плиты чайник, села напротив, положила руки на стол — маленькие, в ранках от уколов и стирки, — и заговорила спокойно, тоном, каким говорила с врачами и начальством, — тоном, за которым Вадим слышал всё, что она себе запрещала:

— На платное можно? Слыла я: на платное в энергетическом — двенадцать в год. Двенадцать тысяч. — Она помолчала. — Есть у нас с отцом три. Было четыре — похороны... Это я к чему: не хватает, Вадя. Не хватает, и взять негде.

Он знал это и раньше. Знал, что не хватает, — но знать заранее и услышать от матери — разное. Услышанное легло в него камнем, и камень этот был — первый взрослый: до этого все его поражения — двойки, проигранные матчи, разбитые коленки — были с бором, с извинением, с надеждой на переигровку. Это — нет. Это было «на всю жизнь», как сказали бы в их дворе.

— Пойду работать, — сказал он. — На базу. Дядь Юра

обещал пристроить, грузчиком. А на следующий год — повторю документы, сдам на отлично, у них повторным можно.

— Иди, — согласилась мать с явным облегчением: работа была слово понятное, надёжное, старое. — Работа — она от мысли отвлекает. А осень покажет.

Дядь Юра, брат соседки тёти Нины, работал завскладом на плодоовощной базе у МКАДа и взял его без разговоров: «плечи есть — остальное приложится». Так в июле Вадим Горских, восемнадцать лет от роду, недоумевающий абитуриент, стал грузчиком.

База была ему — сначала — мукой. Ночные смены, вагоны, ящики по двадцать-тридцать кило, ящик — на плечо, ящик — на штабель, до рези в пояснице, до песка в глазах, до того, что руки не разжимаются на руле велосипеда на обратном пути. Тётки-приёмщицы, вор, которого все знали и не трогали, крысы размером с кошку, чай из бидона, по которой — по крысам, не по чаю, — палкой. Он приходил к утру домой, валился, спал четыре часа, шёл опять.

А через две недели — случилось то, чего он не ждал: тело сказало ему «спасибо».

Он заметил это в одно утро, разгружая вагон с капустой: кочан — двенадцать килограммов, кочан — на плечо, сто кочанов — на ленту, — и вдруг он поймал себя на том, что работает в такт, дышит ровно, что ноша — не ноша, а ритм, и что плечи его, отцовские, широкие, проснулись и радуются. Он был молод, здоров и впервые в жизни нужен был делу

весь, целиком, до последнего сухожилия, — и это было — он не знал слова для этого, а слово было простое: счастье труда. Тот же секрет, что и в беге, — только в беге он узнал об этом позже, в армии; здесь, на базе, была первая вспышка: тело, которое работает как надо, — отдыхает само в себе.

Август он прожил в этом ритме — база, дом, редкие выходные, — и почти не видел Ирину. Она готовилась к отъезду: документы в Ленинград она подала ещё в июне, и в августе пришло — «зачислена», — и теперь её дни были упакованы, посчитаны и прошиты, как её тетради: чемодан, проводы, поезд.

Они виделись два раза. Первый — на полчаса, у её подъезда: она сидела на скамейке с списками в руках — что купить, что зашить, — и между ними стоял уже не холодок, а целая зима: она отвечала не на те вопросы, смеялась не в тех местах, и взгляд её — быстрым, оценивающим — ходил не по нему, а мимо, туда, на вокзалы и филфаки.

— Ты на меня не обижайся, Вадик, — сказала она на прощание, и это «Вадик» — никто его так не звал — было как печать. — Мне надо уехать. Здесь я задохнусь. Ты не знаешь, что это — здесь всё одно и то же, на сто лет вперёд: дом, гараж, электричка. А я хочу другой жизни. Слышишь? Другой.

— Слышу, — сказал Вадим. — Пиши.

— Конечно, — сказала она.

И второй раз — случайно, в конце августа, в аптеке: она стояла с матерью, весёлая, в новой куртке, покупала что-то к

дороге, увидела его, кивнула — и всё. Мимо. Как мимо дома, как мимо гаража, как мимо электрички.

Той ночью он не спал. Лежал и — по-рабочему, честно, как разгружал вагоны — разбирал своё: что было? Было три года. Была её холодная рука в кармане. Была берёза над мостками и «до осени». А теперь — «другой жизни», «здесь задохнусь», и кивок в аптеке. Он не знал тогда слова «брошен» — точнее, знал, но не верил, что это про него: она же не сказала «прощай». Она сказала «поехала». Он жил ещё месяц в этой надежде, как живут в непроверенной квитанции.

А в конце августа она уехала.

Об этом ему сообщила её мать, встретив его у булочной: «Ирочка-то наша уехала, вчера, на Ленинградском повезли, неделя сборов у них там, у студентов первокурсников, ориентация...» Он слушал и понимал, что стоит, улыбается, кивает, — а внутри у него, в том месте, где три года жило «до осени», — тихо и по-хозяйски укладывается пустота. Без крика. Без скандала, которых не было в их правилах. Просто — уехала. Не попрощавшись.

Сентябрь он прожил как в воде. База спасала: там не надо было думать, там надо было подавать кочан и дышать. Писем не было. В октябре пришло одно — общее, круглое, на полстраницы: «здравствуй, у меня всё хорошо, учусь, общежитие, столица культуры, ты не скучай, пиши, как твоя база, твоя Ира». Он перечитал его раз двадцать и понял — рабочим, грузчицким умом понял раньше, чем сердцем согласи-

лось, — что это не письмо. Это справка. Так пишут не любимым, так пишут — отписываются.

Он не ответил. И этим — всё было сказано между ними, на долгие годы, до того самого марта девяносто пятого, когда в учебную часть Балтийска на его имя придёт конверт, который он будет носить потом всю жизнь.

А тогда, в октябре, он просто жил. Разгружал, спал, ел. Мать смотрела на него исподволь и молчала: она всё видела — у неё была профессия видеть чужую боль, — но лезть в его осень не стала. Только однажды, в воскресенье, за пирогами, сказала как бы между прочим, глядя в окно, где над двором стояла берёза — уже голая, уже зимняя:

— Не жди ту, что уехала, сынок. Ждущих не любят. — И, помолчав, добавила своё, родовое: — Горских не носят обиды. Горских — держат. Понял, нет? Держат себя. Держат слово. Держат дом.

Он понял. Не сразу — к декабрю понял совсем. Но запомнил на всю жизнь, и не раз потом, на двух войнах, в самые чёрные свои часы, эта фраза возвращалась к нему, как возвращается в дом свет, когда включают рубильник: «Горских не носят. Горских — держат».

Глава Третья. Казанский Вокзал

Хотя проводы Ирины и не позвали его, — Казанский вокзал в ту ночь всё равно был в его жизни, просто он об этом ещё не знал.

Позже, уже зимою, он узнал от одноклассницы, встреченной у метро: «какие проводы, Горских, её всем классом провожали, человек двадцать, и Ленка с гитарой, и Кирилл этот её ленинградский, который к ней в августе приезжал...» — «какой Кирилл?», — «ну, который на её факультете, аспирант, она с ним ещё до отъезда...» — и голос одноклассницы продолжал что-то объяснять, а Вадим уже не слышал: в голове его, со скрежетом, как вагон на стрелке, переключалась вся осень: и письмо-справка, и кивок в аптеке, и «другой жизни», и — теперь — Кирилл, аспирант, август.

Той ночью он вышел из дома и дошёл до парка, до пруда, до своей берёзы. Стоял над тёмной водой, смотрел на голые ветви, склонённые к воде, — плакучие, материнские, — и думал: «она не в августе его встретила. Она в августе его провожала — меня. Вся её „до осени“ — это было „до отъезда“. Я был ей — чемоданом, который дотащили до вокзала и сдали в камеру хранения».

Обиды не было. Было что-то хуже: ясность. Восемнадцатилетний Вадим Горских в декабрьском парке, над ледяной водой, впервые по-взрослому понял, что любовь — не заслу-

га и не награда, что любить можно в одиночку, и что никто — никто на свете — не обязан любить в ответ. Это знание пришло к нему без озлобления, тихо, как приходит зима: не спросив.

«Ладно, — сказал он берёзе, как говорили в их дворе. — Ладно».

И пошёл домой — переобуваться: с утра на базу, вагон с картошкой, двадцать тонн.

Зима на базе была тяжёлая и честная. Морозы стояли такие, что металл жёг руки сквозь перчатки, а капуста в вагонах — синела; разгружали в три смены, чай пили без конца, и Вадим, в своём бушлате и дядьЮриной ушанке, был своим: грузчики — народ бывалый, молчаливый, они быстро оценили его — не по силе, сила у всех есть, а по надёжности: он не ныл, не бегал, не спорил за лёгкие места, — и приняли, как принимают в цех: не обнимая, но и не выпуская.

Дома шла своя жизнь. Мать работала в поликлинике на две ставки, приходила затемно, и по воскресеньям, в их единственный общий день, они ездили в Дудкино — к тётке, к роще, к пруду: поездом до Электроуглей, потом автобусом, потом пешком, — и в роще, среди снега, стояли берёзы: снежные, огромные, в инее, похожие на женщин в белых платках, вышедших из церкви. Мать ходила меж них, трогала стволы, вспоминала своё девичество — «вот эта, с двойной вершиной, — моя, я в её тени книжки читала», — и Вадим смотрел на неё и думал, что она тоже — из этих:

из тех, кто стоит. Отец умер — она стояла. Сын не поступил — стояла. Зарплата — копейки, цены — как с ума сошли, страна по телевизору — трещала и менялась, как перегоревшая лампочка, — а она стояла, маленькая, сухонькая, в своем выцветшем платье, и держала дом, и держала его, и держала себя.

— Ма, — спросил он однажды, в электричке, по дороге домой, глядя в тёмное окно. — А тебе не страшно? Ну... вообще. За всё.

Мать подумала — она всегда думала перед ответом, честно, не для красного словца, — и сказала:

— Страшно, Вадюш. Только страх — как таракан: боишься его — он и живёт, не боишься — он и сдох. А что страшно — так это не когда страшно. Страшно — когда скучно. Когда сердце не работает. У тебя-то оно работает? — Она повернулась к нему, и глаза её в тёмном вагоне блестели. — Влюблён? Работает? Вот и хорошо. Значит, живём.

— Была, — сказал он, глядя в окно. — Отработало. Уехала она, ма. В Питер. С аспирантом.

Мать долго молчала. Потом взяла его руку — маленькую свою положила на его, большую, рабочую, с мозолями от ящиков, — и сказала то, что он записал в себя на всю жизнь, на две войны, до последнего дня:

— Не тебе это, Вадюш, слушай. Девочка уехала — это не беда. Беда — если ты из-за неё уедешь из себя. Оставайся. Здесь стой. Кто здесь стоит — того и жизнь потом найдёт. А

кто побежал за ней — того и жизнь догоняет.

Он не понял тогда этих слов до дна — до дна они дошли позже, в девяносто девятом, когда он, стоя у руин дома на Гурьянова, понял, что никуда не бежит, а стоит; и в две тысячи двадцать третьем, когда, стоя в дудкинской роще, сказал матери: «я поехал», — и она ответила: «стой там, как здесь». Но в ту электричку он понял главное: мать — на его стороне не против Ирины, а против его собственного бегства. И за это он любил её в тот час так, как не любил, кажется, никогда.

Новый год они встретили вдвоём, за столом с оливье и мандаринами, под телевизор с «Голубым огоньком», — и в полночь, когда за окном, по всему Кузьминкам, начало рвать петарды (в первый год, как их стали продавать свободно), мать подняла рюмку с наливкой и сказала тост, которого он тоже не забыл:

— За тебя, сынок. Не за успех — успех как погода. За то, чтобы ты был живой. Живой — это когда ты чувствовать ещё можешь. И боль — тоже. Значит, живой.

Он чокнулся с ней и подумал, что она, как всегда, права, — но не знал, как быстро жизнь начнёт проверять этот тост и чего будет стоить ему право «чувствовать боль».

А в начале января, когда он, разгрузив очередной вагон, вышел с базы в рассветные сумерки, — у ворот его ждала тётя Нина. В ушанке, в валенках, с авоськой, — она почему-то была одета по-дорожному, — и лицо у неё было то самое, дворовое, с которым сообщают о смерти.

— Вадик, — сказала она. — Повестка тебе. В ящике лежала со среды. Мама моя видела, как почтальонша несла... Она не знает, что я тебя жду. Она сказала: сам пусть решает, когда сказать. Она всю ночь не спала, Вадик. Иди домой.

Он шёл домой через весь район — мимо гаражей, мимо школы, мимо парка, — и на каждом шагу слово «повестка» ложилось в него, как ящик на плечо: тяжело, привычно, порабочему. В восемнадцать лет, в январе девяносто четвёртого, призыв был — как дождь: все знали, что будет; никто не знал, когда и куда. Его поколение воспитывали кино и деды: армия была — долг, два года, «отслужи — и человек». Страшного в этом слове не было ничего. Страшное было в другом — в том, что он увидит дома.

Мать сидела на кухне, не зажигая света. На столе, под чайником, лежал серый прямоугольник. Она подняла на него глаза — сухие, уже всё решившие, — и сказала единственное, что могла сказать женщина её породы:

— Поедешь весной, после дня рождения. Осенним призывом не отдам — пусть сначала год отучится кто-нибудь... нет. — Она осеклась, переделала себя на правду: — Отдам, конечно. Куда денешься. Отдам, Вадюш. Только ты уж мне пиши. Вот это — пиши.

Глава Четвёртая. Повестка

Весенний призыв девяносто четвёртого прошёл мимо него — отсрочка: единственный сын, мать на иждивении, но это было не про них — мать тут же написала отказ от отсрочки: «отказываем, служить пусть идёт», — а их не взяли: план на весну уже закрыли. Так что у Вадима были ещё полгода — лето и раннюю осень, — которые он прожил как все его ровесники в тот год: работал, вырослел, ждал.

Он вернулся на базу — уже не грузчиком, а приёмщиком: дядь Юра, хваливший его всю зиму, перевёл его «на весы». Работа была другая: не нести, а считать, не потеть, а смотреть — сетки, ящики, недовес, обвес, бумага, карандаш за ухом, — и Вадим, к собственному удивлению, справлялся: цифры ложились у него в голове, как ящики на штабель, и дядь Юра говорил: «из тебя, Горских, выйдет или завскладом, или прокурор — глаз — алмаз».

Лето было жаркое, сытное, ленивое — то последнее спокойное лето страны, которого никто не знал наперёд. Выходные он проводил с матерью: речка, шашлыки с соседями, Дудкино. Один раз, в июле, съездили далеко — в Электро-сталь, к дальней родне, и оттуда, с высокого берега, он впервые увидел простор: поля до горизонта, синие леса за ними, облака размером со все их Кузьминки, — и стоял, задрав голову, пока не заболела шея, и думал: «хорошо. Просто хоро-

шо, что вот это всё — есть».

А в конце сентября — пришло.

Он сам взял повестку из ящика — серый казённый прямоугольник, отпечатанный на плохой бумаге: «Горских Вадиму Сергеевичу. Явиться в военный комиссариат... 5 октября, к 9.00, при себе иметь...» — и стоял с ним в подъезде, у окна, где на подоконнике лежал первый за осень жёлтый берёзовый лист, — стоял и не знал, что с лицом: смеяться или собираться в кулак. Получилось второе: он сложил повестку вчетверо, как когда-то ириново «до осени», сунул в карман и пошёл вверх, к матери — сообщать.

Мать молчала два дня.

Это было особое её молчание, семейное, отцовское: не обида, не страх, — расчёт. Двое суток она ходила по квартире, беззвучно двигая вещи, и Вадим знал, что она делает: она собирает его мысленно — от носков до слов, которые скажет на прощание. На третий день, за ужином, она всё выложила — тем же ровным, враческим голосом, каким годами говорила «садитесь, сейчас уколем»:

— Слушай сюда. Пойдёшь в армию — и пойдёшь хорошо. Не как ссыльный, а как Горских. Отец твой отслужил — и ремесло там взял, и характера. Ты тоже возьми. Что взять — сам увидишь. Второе. Я справлюсь. Не надо мне писать про здоровье и про деньги — напишешь, я всё равно не поверю. Пиши про то, что видишь: какая земля, какие люди, какая погода. Это мне — как самой там побывать. Третье.

— Она помолчала, и голос её впервые дрогнул, но она взяла его обратно в руки, как берут сползшее одеяло. — Третье. Войны сейчас, сам знади, везде. Куда попадёшь — не выберешь. Но запомни: если стрелять придётся — стреляй ровно. Не геройствуй и не прячься. Ровно. И возвращайся. Я тебя ждать буду — не год и не два, сколько понадобится. Горских не носят. Горских — держат. Иди.

Он встал из-за стола, чтобы обнять её, но она уже повернулась к плите — туда, где её место, где никто не видит её лица, — и он поцеловал её в плечо, в это выцветшее платье, и вышел во двор.

Берёза стояла над двором, наполовину жёлтая, и лист с неё летел — медленно, в сторону, как будто примериваясь, куда ему, листу, лучше: на балкон или на асфальт. Вадим стоял и смотрел, и в голове его, сам собой, без разрешения, пошёл счёт: сколько он увидит ещё осеней — этой берёзы, этого двора? Двадцать? Пятьдесят? Восемнадцатилетний счёт — из тех, что не решаются, а только кладутся в память: он запомнил и лист, и балкон, и себя — стоящего, — на всю жизнь, на три войны вперёд.

Пятого октября они сходили в военкомат — вдвоём: мать настояла, «как на экзамен». Военкомат был тот ещё спектакль: коридоры, крики, списки, «следующий!», — и посреди всего этого — медкомиссия, четыре кабинета, где его шупали, стучали, светили в глаза. Врач-хирург, старый, с сигаретой в зубах (в девяносто четвёртом в военкоматах ещё ку-

рили в кабинетах), оглядел его — сто восемьдесят четыре, плечи, лёгкие «как меха», — и сказал в карту: «годен, А, первый, к элитным — годен».

— К каким? — не понял Вадим.

— Элитные войска, — устало пояснил врач. — Морская пехота, десант, спецназ — отбор по здоровью и психике. Хочешь в морпехи? У нас как раз разнарядка — Балтийск.

— А чё там делать-то, в морпехах? — спросил Вадим, и это был единственный раз в жизни, когда он задал такой вопрос.

— То же, что везде, — сказал врач, прикуривая. — Служить. Только в чёрном берете и у моря. Следующий!

Так, между окурков и «следующий», решилась судьба. В коридоре, когда он вышел с картой в руках, мать стояла у окна, и он сказал ей — просто, как про оценку:

— Морская пехота, ма. Балтийск. Это у моря, на самом западе.

Мать кивнула. И потом, уже в автобусе, по дороге домой, сказала, глядя в окно:

— Морская. Хорошо. Море — оно всё равно что небо: большое. Отца бы порадовала: он морем ещё с армии грезил, а его — в степь, под Оренбург, в танкисты. А ты вон — сразу к воде. Держись там воды, Вадюш: вода, она всё ровняет.

Дома начались сборы — те самые, домашние, где всё решает не список, а любовь. Мать перешла, перестирала, уложила: бельё, носки, бритва, мыло в мыльнице, кружка, лож-

ка, и — отдельным свёртком — дедовский ремень отца, широкий, армейский, со скрипучей пряжкой, и с внутренней стороны процарапано: «С. Г.» — отец носил его всю свою службу, и вот теперь ремень уходил служить снова, на сына, на вторую свою жизнь.

— Не потеряй, — только и сказала мать, отдавая свёрток. — Всё остальное — купишь. Это — нет.

А в последнюю ночь — не спали оба. Мать пекла: пироги с капустой, с яйцом, с яблоками — весь дом стоял в этом духе, и Вадим лежал в темноте и слушал, как она ходит там, гремит противнями, — и понимал, что это не пироги. Это обряд. Так она провожала отца — на работу, в последний его день, тоже пекла; так провожали в этой стране всегда, когда слова кончались и начиналось тесто.

Под утро, когда пироги встали и стихло, она вошла к нему, села на край кровати — как в детстве, — и положила ему в руку берёзовый лист. Сухой, октябрьский, с того самого двора, с их берёзы, — она сорвала его днём, он видел.

— На, — сказала она. — Глупость, конечно. Но пусть. Ты его не потеряй — и я буду знать, что ты при себе весь: я, дом, двор, всё. Ровно служи, сынок. И возвращайся.

Он сжал лист в ладони — осторожно, чтобы не раскрошить, — и сказал:

— Вернусь, ма.

В окне серел рассвет — последний домашний. Завтра был эшелон.

Глава Пятая. Эшелон

Сентябрь в тот год стоял длинный, тёплый, с тихими утрами, и казалось, что осень передумала приходить. Но в конце месяца задождило, и сразу стало ясно: лето кончилось совсем, и молодость Вадима кончилась вместе с ним, потому что в почтовом ящике, между рекламной листовкой шиномонтажа и счётом за электричество, лежал жёсткий серый прямоугольник с гербом.

Повестка лежала в ящике три дня — Вадим не мог решиться взять её в руки, будто пока она лежит там, сквозь железную щель, она ещё не совсем настоящая. Мать трогать её не трогала, но знала — она знала всё в этом доме раньше, чем говорилось. В четверг вечером, когда Вадим вернулся с базы с ломотой в плечах и солёной коркой на воротах, ужин стоял на столе, и мать сидела напротив, сложив руки, — так она сидела в кабинете у врача, когда отец не вернулся с работы, и ей сказали: «поздно, уже увезли».

— Когда? — спросила она.

— В среду. На сборный пункт.

Она кивнула и налила ему супа. И всё. Ни слёз, ни слов о том, что он у неё единственный, ни просьб косить, прятаться, лечь в больницу — всё то, что делали матери вокруг, в очередях, на остановках, в поликлинике, она не сделала. Горских не носят, Горских — держат. Держать — значило

теперь отпустить.

Оставшиеся дни разошлись как-то сами. Он перебрал гараж — отцовские ключи, тиски, баночки с шурупами по размерам, — и ничего не выбросил, только вытер ветошью верстак, будто собирался вернуться к нему завтра. Сходил в Кузьминский парк, постоял на мостиках, где вода стояла тёмная, с листьями. Берёзы уже роняли жёлтое — медленно, по листу, как роняют слова, которые не решились сказать все сразу. Та, крайняя, у пруда, с плакучими ветвями, склонённая к самой воде, показалась ему в этот раз старше, чем летом, — и он поймал себя на мысли, что думает о ней «она», как думают о человеке.

В воскресенье поехали втроём — мать, тётя Нина из соседнего подъезда и Вадим — в Дудкино, к роще над прудом, куда мать ездила девочкой и куда возила его, маленького, с отцом. Автобус тащился по Горьковке час, за окнами стояла золотая, уже слегка поредевшая Подмосковная осень — поля, дачи, ряды телеграфных столбов, и на каждом третьем сидели скворцы, честно ждавшие отлёта, как ждут пенсии. В роще было тихо и сыро; берёзы стояли тесно, белые стволы в тёмных прожилках, как руки, намыленные работой. Мать ходила медленно, трогала стволы ладонью — у неё была своя берёза, высокая, с двойной вершиной, — и Вадим увидел, как она молча плачет, не поднимая рук, не утирая лица, а просто слёзы идут сами, как идёт сок по весне.

Он отвернулся и стал смотреть на пруд. Пруд был широ-

кий, с тёмной водой и опрокинутым небом; по дальнему берегу полоскалась утка с выводком — поздним, последним. «Вот, — думал он, — всё уходит: утки улетят, листья упадут, и я уеду. А роща останется. И мать останется. И будет она сюда ездить — одна». От этой мысли внутри стало пусто и гулко, как в пустом вагоне, и он понял, что уже уехал — в ту среду, из ящика с почтой, и что теперь просто доедает дома оставшиеся дни, как доедают хлеб перед дальней дорогой, не чувствуя вкуса.

Призывался он в среду, а во вторник ночью не спал. Лежал и слушал, как мать ходит по кухне — гремит посудой не для дела, а чтобы был звук, — и думал про отца. Отец приснился ему под утро, впервые за много лет: сидел на своём месте в кухонном углу, большой, в ватнике, пил чай из блюдца и не смотрел на сына, а смотрел в окно, и в окне была не Кузьминки, а какое-то поле с дорогой. «Ты, главное, землю люби, — сказал отец, не оборачиваясь. — Земля, она всё помнит и всё прощает. Люди — не всегда». Вадим проснулся с колотящимся сердцем: на кухне пахло пирогами — мать пекла с ночи, чтобы дать с собой, в дорогу.

Сборный пункт был на окраине, за высоким забором с колючкой, и всё там было устроено так, чтобы человек скорее чувствовал себя вещью, которую грузят: коридоры с облупленной краской, крики «по-омещаться!», медкомиссия в четыре кабинета, где его щупали, стучали, светили в глаза и задавали один и тот же вопрос: «жалобы есть?» Жалоб не бы-

ло. Восемнадцать лет, рост сто восемьдесят четыре, сердце как часы, лёгкие — меха. Из четвертого кабинета его выпустили с картонкой в руке, и молодой офицер с усталым лицом, глянув в карту, сказал равнодушно-одобрительно:

— Морская пехота. Счастливчик.

— Чего там счастливого, — сказал сосед по очереди, длинный парень с прыщавой шеей. — В моряки, что ли?

— Не моряки. Морпехи, — офицер уже смотрел следующую карту. — Чёрная смерть. Держитесь, ребята, теперь до дембеля.

Слова эти Вадим услышал впервые, но почувствовал в них сразу и трубу, и барабан, и что-то отцовское, ремесленное: настоящее дело для настоящего тела. И когда вечером их, сто человек, уже стриженных наголо, построили во дворе сборного пункта и капитан крикнул: «Кто в морскую пехоту — два шага вперёд!», — Вадим шагнул первым, раньше, чем успел подумать. Вышел ещё десятка полтора; их отвели в отдельный угол двора, и с этого угла началась его вторая жизнь.

Прощание вышло коротким, как всё настоящее. Мать приехала утром к воротам с баулом и сумкой, и в сумке были пироги, варёная курица, носки, бритва и зачем-то клубок ниток с иглой — «пригодится, всё пригодится». Она поправила ему воротник, которому ничего не надо было поправлять, и сказала тихо:

— Я не буду плакать, не смотри. Ты отцовский. Он из армии вернулся первым мастером, и ты вернёшься. — И, по-

молчав: — Пиши. Хотя бы открытку. Мне не надо, чтобы много написано было. Мне надо, чтобы почерк был твой.

Он хотел сказать что-нибудь — большое, про то, как он её любит, про то, что вернётся, — но горло перехватило, и он только кивнул. Она тоже кивнула. Так они и расстались — кивками, как два телеграфных столба, понимающих друг друга без проводов. Уже из автобуса она помахала — платком, коротко, вразмах, как отгоняют мысль, — и автобус уехал.

Грузили их под вечер, на товарной станции, куда пригнали длинный состав из тёмных теплушек с нарами в два яруса. По перрону сновали матери, жёны, сёстры; кто-то плакал в голос, кто-то совал в окна последние банки, кто-то просто стоял, прижав ладонь к доске вагона, и поезда не было — был лес ладоней. Солнце садилось за депо, огромное, в пару и дым, и рельсы уходили в него, как в огонь, и Вадим смотрел на это солнце и думал: «Вот и закат. Пять минут назад я был сын, парень с базы, москвич. Теперь — призывник, душара, единица. А солнце одно и то же. Значит, и я — тот же. Надо только не забывать».

Эшелон тронули в сумерках. Мимо поплыли семафоры, водокачки, чёрные кроны, чужие огни. В теплушке пахло сеном, мазутом и пирогами; парни — свои, морпеховские, уже перезнакомились — сидели на нарах, и коренастый прыщавый, которого звали Славка, разлил из фляги отцовский чай, и нашёлся гармонист, и кто-то запел, сначала вразнобой, по-

том — вместе. Пели «Как упоительны в России вечера», хотя вечера были уже не русские — были литовские, — но кто в этом разбирался. Вадим лежал у приоткрытой двери, смотрел на мелькающие версты и ел материнский пирог, и пирог был лучший на свете, потому что в нём была вся кухня его детства.

Ночью состав стоял где-то в поле, и он выглянул: над землёй, до самого горизонта, стояли звёзды — больше, чем в Москве, в десять раз больше, — и где-то далеко, у самой земли, мигал огонёк: то ли деревня, то ли сигнальный костёр путейцев. «Всё-таки страна, — подумал он с гордостью и нежностью, как думают в восемнадцать лет. — Двое суток ехать — и всё наше. И Балтийск наш, и море наше». Сна не было; тело лежало, а душа ехала впереди эшелона, уже у моря.

Так ехали двое суток. На больших станциях женщин с банками уже не было — шли редкие провожатые из военкоматов, сержанты считали головы, из титана наливали кипяток. Ржаной хлеб, круглая колбаса, кирпич сахара, стёкла чая; Славка научил его тесать сахар «по-походному» и есть его вприкуску, держа в кулаке. Пели; спали вповалку; один парень, москвич, тихий, всё читал книжку без обложки, и Славка дразнил его Профессором, а тот не обижался. Второй, курчавый, с круглой улыбчивой мордой, боксёрская походка, всё шутил, всё обещал «по приезду в часть — сразу чемпиона», — его звали Санёк, и с ним было легко, как с дворовым, с тем, с которым с трёх лет. Тогда, в тёплушке,

ещё никто не знал, что эти трое — Вадим, Санёк и Профессор — будут друг у друга вместо всей жизни; жизнь всегда решает за нас, кого нам послать, и открывает это только потом.

Балтийск встретил их ветром. Дверь теплушки открылась — и в вагон вошёл ветер: солёный, широкий, с галькой звука, с криком чаек, и сразу стало ясно, что здесь, на самом краю страны, всё немного больше человеческого: небо выше, вода серее, воздух плотнее. На перроне стояли в серой шеренге чужие загорелые солдаты в чёрных беретах — спокойные, как учителя, — и старшина с сиплым басом, не повышая голоса, но так, что было слышно за версту, скомандовал: «Выходи! С оружием и вещами — не толпиться! По четыре — становись!»

И они вывалились из тёплушек в этот ветер — сто смешных стриженных мальчишков с баулами и материнскими пирогами, — и ветер тут же отнял у них последние слова гражданской жизни, потому что с той минуты разговаривать предстояло только по команде.

Карантин был две недели: плац, каптёрка, баня, обмундирование не по росту — ботинки сорок третьего размера на ногу сорок первого, бушлат с плеча великана, — и бесконечная строевая, от которой ныли ноги и пустела голова. Их учили заправлять, подшивать, ходить, молчать, стоять, есть за двенадцать минут, писать рапорта и не писать домой лишнего; учили, а вернее — перетирали, как перетирают в ступе:

из деревенских, дворовых, институтских, футбольных делали одно тесто, из которого предстояло испечь солдата. Кто-то не выдерживал — по ночам в умывалке всхлипывали, стараясь, чтобы не слышали; Вадим не всхлипывал. После базы и отца у него внутри стоял верстак: тяжёлый, с тисками, к которому всё новое прибивалось гвоздём покрепче.

А вокруг была страна моря. Балтийская коса: сосны в белом песке, склонённые все в одну сторону вечным ветром; залив — то свинцовый, то нежно-молочный на закате, и маяк на дальнем молу, и гул паромов, и чайки, которые дрались и смеялись как базарные торговки. На построении старшина сказал про море четыре слова: «Море не любить — нельзя», — и Вадим понял его сразу, потому что уже любил: за то, что оно было сильное и не притворялось никем.

В конце карантина, уже перед приведением к присяге, выдали на один вечер увольнение по казарме — то есть просто разрешили писать письма. Вадим сел у тумбочки с тетрадным листом и долго думал, как написать матери про всё это — про ветер, про чайки, про бушлат с чужого плеча, про то, что он цел и что дело настоящее. В конце написал коротко, как она просила — почерком, и побольше, чтобы издалека было видно, что живой:

«Мама. Доехали хорошо. Кормят сытно. Море видать из окна казармы, оно большое, ты бы посмотрела. Служить буду в морской пехоте, это почётные войска, тут все крепкие, и я буду крепкий. Ты только не езжай в Дудкино одна, дождись

увольнения, вместе съездим. Пирог твои съел не один, делился — все хвалили. Береги себя. Твой Вадим».

Он перечитал, поправил «видать» на «видно» — так писала Ирина, и он невольно взял её аккуратность, — потом вернул «видать» обратно: мать поймёт своё, а чужого ей не надо. Запечатал конверт, купленный у каптёрщика по чёрному за пятак, и вышел на крыльцо казармы. Стояла осень приморская, ветреная, с высокой быстрой луной. За плацем темнел край соснового парка, и между сосен, в свете луны, белела тонкая молодая берёзка — единственная на этой песчаной военной земле, случайно или нарочно выросшая.

Вадим постоял, глядя на неё. Ветер качал её вершину, и она кланялась то морю, то казарме, то ему, — и в этом поклоне было столько покорного терпения, что у него вдруг защипало глаза: он увидел в ней мать, которая кланяется всем — врачу, очередям, судьбе — и не ломается. «Ладно, — сказал он ей тихо, как говорят свои. — Ты стой тут. Я вернусь — проверю».

И, ещё раз глянув на маяк, на низкие звёзды над заливом, на свою берёзу, пошёл в казарму — подниматься в новую жизнь, как поднимаются по сходням: сначала одну ногу, потом другую, и не смотреть вниз.

Глава Шестая. На Перевес

Карантин кончился, и началась учебка — та самая, о которой в гражданской жизни рассказывают страшилки, а в армейской вспоминают, как о первой любви: тяжело, страшно и навсегда.

Их роту принял старшина Захарченко. Он вышел перед строем на первое построение — приземистый, в лет тридцать пять, с шеей, уходящей прямо в плечи, с лицом, выделанным ветром и службой, как выделяется кожа, — и сказал без всякого «здравствуйте, товарищи призывники»:

— Сынки. Забудьте, как вас мама звала. Здесь вас будут звать так, как заслужите. Из вас за полгода сделают морских пехотинцев, если вы не сдохнете. А не сделают — значит, сдохнете. Другого не дано. Вопросы?

Вопросов не было. Ищи тут ветра в поле: всё, что ни спроси, — «другого не дано».

Голос у Захарченко был не бас, как ожидалось, а сиплый, сорванный на плачах и на морском ветру, и оттого каждое его слово казалось взятое с боем, честно заработанное — и слушалось как приказ, потому что им и было. За глаза его звали Батей, и он знал это, и не сердился: у Бати за четырнадцать лет службы было два «срочника», ставших офицерами, один — мастером спорта, и бесконечная, как прибой, вера в то, что из любого пацана, если его не жалеть, а любить

по-настоящему — делом, — выходит человек.

Подъём был в шесть. Сначала — минута на обувь, минута на строй, и вот уже сто человек в темноте, в холодном песке косы, бегут первый свой километр, и день, не успев родиться, уже требует от тебя всего. Потом зарядка, умывание холодной водой, заправка коек — «прощай, мама, заправка — искусство!» — осмотр, при котором Батя шёл вдоль коек с ладонью, готовой бросить на постель что-нибудь весомое, и если койка пружинила, весомое падало, и виновный начинал день с личного знакомства с уставом.

Потом был завтрак — каша с маслом, хлеб, чай, — и балтийская стряпка казалась стряпкой родного дома, потому что после вчерашнего марш-броска еда перестала быть едой и стала наградой. «Шакалы» из столовой — солдаты на нарядах — двигались как сомнамбулы, и на них смотрели с пониманием: каждый побудет.

А потом — занятия. До обеда, после обеда, до ужина: строевая, физо, тактика, огневая, устройство АК-74, который сначала выдавали в изучение деревянный, и Вадим разбирал его с тем же чувством, с каким отец разбирал в гараже карбюратор: вот затвор, вот ударник, вот возвратный механизм — всё просто, всё честно, всё можно понять руками. Руки у Вадима были отцовские — большие, терпеливые, не боявшиеся ни масла, ни оружия, — и затворная задержка щёлкала в них, как хорошо подогнанная деталь.

Физическая подготовка была вся — на выносливость, и

вот тут открылось то, о чём Вадим не знал в гражданской жизни: бегать ему было легко. Не «легко переться», а легко — дышать, держать ритм, идти вперёд. Лёгкие, оставшиеся ему от дедов и от бега за мячом по всему Кузьминскому парку, работали как меха, обещанные Библии ещё на призывной комиссии; ноги после плодоовощной базы сами просили дальнего. Когда рота шла на пятикилометровый кросс по песку — а песок на косе был не московский, сыпучий, отнимающий половину силы, — Вадим к третьему километру начинал дышать на весь берег, и Батя, бегавший рядом с ротой легко, как на демонстрации, косил на него глазом и молчал из экономии.

А потом был день, когда им впервые выдали оружие на тактику и Батя показал «бег с оружием на перевесе» — автомат горизонтально, обе руки, локти в стороны, грудь вперёд, — и сказал, что так на войне бегут потому, что так можно бежать и стрелять, и стрелять, и бежать, а кто бежал, положив автомат на шею, как дрова, — «тот бегал не на войне, а в кино». И рота побежала учиться. Через двести метров руки у всех горели, автомат весил пуд, локти падали, и даже крепкие парни, боксёр Санёк и тяжёлый слоновый Славка, шли с перекошенными лицами.

Вадим бежал и улыбался.

Он не мог этого объяснить — и потому запомнил на всю жизнь, как запоминают место, где встретил любовь. Автомат на перевес держал его в напряжении всего тела, от стоп

до кистей, — и это напряжение было похоже на правду: как будто тело, данное ему для двора, для парка, для грузчиков, впервые узнало, зачем оно такое большое и терпеливое. А через неделю взводу показали и «Муху» — реактивную противотанковую гранату, трубу одноразового счёта: она спит за спиной у гранатомётчика, и будят её один раз — на войне. «Муху» вручили Славке: из всего взвода он был самый коренастый, широкий в запястьях, из тех, на ком снаряжение не висит, а стоит. Батя подал ему трубу и сказал без всякой иронии: «Тебе. Носи. За спиной — носи, она не любит, когда её тискают». И Славка носил: с той минуты «Муха» ездил у него за спиной, как второй хребет, и парни шутили: «Славка со своей мухой — как с невестой», — а Батя слышал и не поправлял: знал, что на войне берегает тебя то, к чему ты приучен беречь. И когда Батя командовал: «Взвод — бегом! Оружие — на перевес! Ма-арш!» — внутри у Вадима что-то замирало от восторга, как перед прыжком в воду с высокого берега, и он бежал — дыша, держа, не опуская локтей, — и думал: вот оно, моё. Мне это — можно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.